

## Памяти Помяловского (5 октября 1863 г.)

Помяловский – имя очень популярное и когда-то даже тенденциозное. Его волнения были волнениями, характерными для его эпохи, но они были вызваны когда-то "отцами" и претворились в волнения "детей". Отдаем ли мы теперь себе сознательный отчет, чем он так характерен для эпохи? Его уже забывают, он теряется в группе более властительных и страстных ее выразителей. Но он был слишком показателен для нее, если даже не признать большого значения за ним лично, - чтобы быть затерянным, забытым...

Его литературное наследство: первый маленький очерк "Вукол", уже очень мрачный, ужасные "Очерки бурсы" и повести "Мещанское счастье" и "Молотов", две части одной большой, которой не дано общего заглавия, - не только литература, но и собственное жизнеописание. Он был "новый человек" - отнюдь не из "дворянского гнезда", а их охтенского причта. Он провел уродливое детство в Александро-Невской духовной школе, приучившей его к запою. Он ненавидел свое детство, среду, которая его испортила, все условия, которые не давали простора людям его происхождения, в которых торжествовало лишь "подчищенное человечество". Он был плебей (слово "разночинец" слишком отвлеченно, да и слишком нежно для определения его возмущенной души) - такой же, как до него, раньше Белинский, внесший впервые плебейский инстинкт в нашу литературу, во всей его горячности и неуравновешенности; пролетарий, не знавший обеспечения дальше сегодняшнего дня и возмущенно проклинивший тех, кто знал - крепкое земле - обеспечение в "великой Обломовке". Обломовщине он и противопоставлял таких людей, как он, когда в шутку назвал в одном письме самого себя "Помяловщиной". Мещанскому царству Обломовки - мечту об ином царстве, другом быте, других началах жизни.

Егор Иванович Моловот думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Ивановичу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме. под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: "А где же те липы, под которыми прошло мое детство? - Нет тех лип, да и не было никогда". Припомнился ему отец - мещанин слесарь, - жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы..."

Так начинается повесть "Мещанское счастье", напечатанное в 1861 году. И это формула, в которой заключен целый исторический путь от пушкинской "деревни, где скучал Евгений", через "старосветскую" гоголевскую усадьбу, тургеневские Лаврики, Обломовку, густые аллеи Ясной Поляны, оживленные тенями 12-го года, - до Вишневого сада, оплаканного, почти в наши дни, - плебеем Чеховым. Там было так изумительно уютно, покойно и тихо, как на дне ("Вот когда я на дне реки", - думал Лаврецкий...) - и "ни одно желание не перелетало за частокол", окружавший эту тишину... "Новый человек" питался совершенно непохожими впечатлениями, если даже они были ласковы:

"Матери он (Моловот) не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его

широком лице, а он, Егорка, тут же копается. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: "А поди ко мне, чертенок!", посадит его к себе на колени, любуется на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.

- Чего ржешь, тятька?
- Что, Егорка, а?
- Ржешь чего?
- А стих такой нашел.
- Ишь ты! - отвечает Егорка.
- А спеть тебе песню? - спрашивает отец.
- Спой, тятька.

И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Ивановича совершилась в грязи и бедности"...

Егор Иванович Молотов - это одна сторона плебейской души: с ее ненавистью к Обломовке и с направленной против дворянского рая силой того же "мещанского счастья", которого она стыдится и которого требует, и хочет оправдать свое требование правом на счастье. Другая сторона этой новой души, его психологическая противоположность - тоже плебей, Череванин, озлобление которого выражается в резком отрицании всякого счастья - в ощущении одного сплошного зла, разлитого вокруг и во всем, - и эту короткую и злобную мудрость он называет "кладбищенством". Душа плебея возмущалась. Возмущение - ее основная стихия, которая и вынесла ее на историческую поверхность. Его возмущение, не до конца сознанное, не во всех подробностях осмысленное, но переживаемое со всей страстью. Речи Череванина о бессмыслии жизни, о том, что бессмысленная жизнь кончается бессмысленной смертью, что жизнь - грязь, и кончается еще худшей грязью, - смертью, неизбежным разложением тела, глупо мечтающего, пока оно живо, о чистоте, правде и счастье, - эта "хмурая", "кладбищенская" мудрость - мировоззрение самого Помяловского. Недаром наступление для его героев так долго ожидаемого ими счастья сопровождается появлением мертвого призрака - злобы и скуки, - и на этом обрывается повесть:

"...Неужели запрещено устроить простое, мещансское счастье?

Надя ожидала...

-Надя, миллионы живут с единственным призванием честно наслаждаться жизнью... Мы - простые люди, люди толпы.

Молотов подошел к ней.

- Ты согласна на это?

- Я... твоя ведь! - ответила Надя.

Молотов обнял ее...

.....  
...В это время темное кладбищенство глянуло в двери...

Но Михаил Михайлович, заметив, что Молотов и Надя обнимаются, поспешил уйти... Тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно!.."

В первый раз Молотову явился призрак счастья, когда его полюбила

простодушная "помещичья" дочка со всей силой простодушия, но тогда Молотов отверг возможность счастья - вместе со всей "старой, отцами переданной, жизнью" помещичьей. Леночке он говорил: "Неужели моя жизнь пропадет даром?", когда она на каждое его слово отвечала детскими восторгами: "Ты - герой!.. Я - птица! полетим! ты понесешь меня в объятьях... Пойдем в долину - хижину выстроим..." Он назвал эти призывы "птичьими" - и ушел от них. Куда же? Он поступил на службу, сделался чиновником. Скоро он встретился с "чиновничьей" дочкой Надей, которая полюбила его с детских лет и 22 лет открылась ему - и тоже позвала к тому же самому счастью. И Молотов не ушел от Нади: напротив, он обещал ей самое мещансское счастье, в удобной квартире, где у него - "и мебель, и фарфор, и картины..." Что же случилось? Соблазн счастья, после колебаний, вызванных возмущением против обломовского мещанства, одолел плебея: одну половину души самого Помяловского, потому что другая - в образе Череванина "кладбищенским" взглядом заглянула в двери и отозвалась скучой.

Помяловский умер очень рано, не дожив до 30 лет, и мы не знаем, как остановилось бы это колебание между стремлением к личному счастью и смутным исканием подвига - колебание, которым, кажется, и определяется смысл его эпохи; но слишком очевидно для всех внимательных читателей Помяловского и для всех чувствующих то время, что это колебание подымалось от счастья – к подвигу.

Обломовка знала счастье в обыкновенном "мещанском" его течении - в мирном уюте день за днем, до одури, до отупения, до смерти всех двигающих сил, и ни о каких подвигах не мечтала. Когда из ее убаюкивающих снов начали выходить юноши с мечтой о подвиге, - то это был сон во сне, а снаружи - оставалась мечта о счастье: таков был помянутый мной недавно Станкевич, с его женственными порывами. Новые люди пришли именно с этим новым томлением - томлением, которое не может долго оставаться одной мечтой, но неудержимо ждет воплощения.

Тургенев и Гончаров – Добролюбов – Помяловский – Писарев – Достоевский – Толстой, - вот знаки этого движения. В течение десяти лет писал Гончаров свое обломовское полотно, подсказанное ему духом Герцена и Белинского - отречение от мирного счастья дворянских гнезд, но, будучи сам мещанином в дворянстве, он не мог скрыть своей завистливой любви к этому великолепию: мещанскому - в сущности, дворянскому - по имени, быту. И потому олицетворение мещанства (тянувшего к себе русского дворянина с детских лет и притянувшего, наконец, до смерти) - вдова Пшеницына - написана сочнее и увлекательнее, чем идейная Ольга и символический Штолец. Но Добролюбов извлек из этого неоткровенного отречения разрушительную тенденцию: плебейский гнев уже не мечтал и не склонялся к счастью, а звал к подвигу. На этот зов первый и отозвался Помяловский. За недолгими годами добролюбовского гнева (56 – 61 гг.) пришло возмущение Помяловского (59 - 63 г.). После этого уже начались "разрушения". Писарев, с одной стороны, Достоевский - с другой, - в другом и более грозном масштабе, - и, наконец, нескрываемые призывы к подвигу - у Л. Толстого. Так совершили

эти исконные стремления общественной и личной души круг своего развития - и теперь претворились в волнения наших дней...

Возмущение Помяловского началось с педагогических впечатлений и педагогических интересов. Это было совершено "в духе времени", и в этом есть свой исторический смысл. Известно, какой шум поднялся вокруг маленькой пироговской статьи, помещенной в "Морском Сборнике". Добролюбов писал не раз по вопросам воспитания. Критический анализ Островского по своим основам глубоко педагогичен. Личность Добролюбова вся насквозь была проникнута духом морали - до аскетизма. Требования, предъявленные им нашему общественному сознанию, были внутренно аскетические: в другую эпоху он был бы, наверное, религиозным подвижником. И Некрасов понимал его именно как подвижника:

Суров ты был; ты в молодые годы  
Умел рассудку страсти подчинять...

Писарев (который также часто писал по педагогическим вопросам) - несмотря на всю свою борьбу с идеалами отреченья, и на проповедь личного счастья, был педагогом по призванию - только с более свободной, с более "светской" моралью: он иногда прямо обращался к своим читателям, как учитель к ученикам. А разве не педагогичен Достоевский - при всех своих обнажениях и безднах? А Л. Толстой - и по морализующему духу своей поэзии, и по увлечению с ранних лет вопросами и практикой народного образования? Мы только недавно вошли в тот круг литературного развития, который очерчен не из морального центра, - лежит вне педагогической стихии.

Помяловский кончил свою четырнадцатилетнюю бурсу, озлобленный на нее, осужденный из-за нее на гибель и бросился к педагогическим занятиям: домашним - с братом, общественным - в воскресную школу, начал составлять учебник, хотел сотрудничать в "Журнале для воспитания" специальными статьями и напечатал в нем "Вукола" - на тему о деспотическом воспитания заброшенного мальчика. Потом, вслед за "Мещанским счастьем" и "Молотовым" (в последнем есть целая характеристика "институтского" быта) - опять вернулся к вопросам воспитания - в четырех "очерках бурсы" и нарисовал картину такой мерзости, которая, конечно, хуже "Мертвого Дома", потому что там - преступники с неугасшей душой, а здесь мальчики, готовящиеся быть священниками, с душой уже угасшей, в пятнадцать лет уже звери, - окруженные средой какой-то неистовой "педагогической" злости. Это возмущение против одного из уголков "великой Обломовки" - должно было легко обобщиться, стать возмущением против всего того, что держит бурсу и все, что вокруг нее. Возмущение Помяловского было не только литературным, но и его "душевным делом", которое он не имел силы пережить во всей его остроте, так же, как и его пьянство - бурсацкое наследство - было не только болезнью: это была мрачная и дикая истерика нежнейшей души, отправленной неутолимым возмущеньем. Нежность его души сказалась в любви к детям и во внимании к трогательной психологии его простодушных девушек. Его

возмущенье сказалось в немудрой, но слишком жизненной "скуче" его "кладбищенского" призрака, сторожащего всякое явление личного счастья. И он не мог принять счастья, сколько бы не требовал его по "праву", - и в идеализации благонамеренного Молотова выразилась лишь та преждевременная, искусственно созданная бурсацкими ужасами - усталость душевная, о которой он так настойчиво упоминает в "Мещанском счастье". Трагизм его "плебейского" положения и заключался в том, что он - как плебей - хотел подвига, но в усталости от безобразных впечатлений - малодушно готов был склониться к счастью.

Литературный талант его не развился, но, надо думать, что он был очень талантлив, что сила его повестей и очерков была силой не одной взволнованной души. В его картинах слишком много публицистики, очень напоминающей родного ему Добролюбова; общий колорит их - мутен; общий тон их - ноющий; стиль - тягучий, но всем этом есть свой вкус, свое очарование - для тех, кто дорожит всеми тенями и оттенками нашей литературной жизни. Он был одним из первых "натуралистов" - той поздней формации, которая совпадает в живописи с передвижниками: у него те же недостатки и те же достоинства. В нем нет ничего тургеневского даже там, где он по сюжету приближается к Тургеневу (свидание Молотова с Леночкой); он чем-то, может быть, той же "плебейской" несдержанностью манеры - иногда напоминает Достоевского; но ближе всего он подходит к Гончарову: мещанский жанр во второй большой повести (семья Дороговых) очень похож на такой же жанр в "Обломове". Но то, что у Гончарова идиллично, чем он невольно любуется, то у Помяловского - всегда драматично и насыщено раздражением.

Так Добролюбов, с его разрушительным пониманием "обломовщины" - исторически, действительно, стоит между ними двумя и их соединяет. "Сороковые годы" были претворены в новое сознание Добролюбовым; поэтому Помяловский, прямо вытекающий из него, - это уже типические "60-ые годы", если не считать их предтечу – Некрасова. Помяловский - один из первых "новых людей" и, конечно, самый взволнованный, взволнованнее Левитова, даже Решетникова, - и художественнее их. Язвительный Писарев мог прийти уже после него; наиболее бесспорные критические мнения этого спорного критика - именно о Помяловском.